

Joanna Korzeniewska-Berczyńska
Warszawa

Когнитивные потенции новых словосочетаний и фразеологизмов

В связи с обозначенной проблематикой, я хочу сосредоточить внимание на имплицитной, по сути, информации, которая заключается в слове как хранителе знаний о новом и обновленном российском мире. Подобная цель освобождает от строго формального разграничения словосочетаний и фразеологизмов, тем более, что „по своей структуре фразеологизм есть словосочетание”¹.

Фактический материал – предмет анализа – имеет публицистическую родословную. Здесь учитываются, кроме устойчивых, довольно устойчивые словосочетания, проявляющие тенденцию к устойчивости, а также индивидуально-авторские словообразования. Большинство из них, разумеется, не фиксируются в словарях, но представляют ценность в когнитивном аспекте.

Опираясь на публицистический дискурс 1988–2000, и сопоставляя результаты собственных анализов с исследованиями Степанова², я обобщаю свыше двадцати стержневых слов и их производных, образующих сложные наименования. Это: *перестройка, гласность, цивилизация, идеология, идея, русская идея, ментальность (менталитет), сознание (общественное сознание), демократия, люмпен, советскость, большевизм, коммунизм, храм, личность, духовность, ценности, мораль, рынок, кризис, реформы, деньги, собственность*.

В узких рамках данного текста мы сосредоточим внимание на сфере сакрум, представляющей лишь сочетанием слов с концептами: *ценности, духовность и профанум*, представляющее концептом *рынок* в сопровождении обилия дериватов.

¹ В.М. Мокиенко, *Источники фразеологической неологии в русском языке*, [в:] В.М. Мокиенко, *Новая русская фразеология*, Opole 2003.

² Ю.С. Степанов, Константы. *Словарь русской культуры. Опыт исследования*, Москва 1997.

Итак, уже в первые перестроечные годы *социалистические ценности, советские ценности* стали восприниматься как *фантомные* или *совковые*. Возникшую таким образом нишу заполняют многочисленные новообразования, отображающие извилистый путь поисков духовной опоры в ставшем неопределенным, непонятным пространстве не только социальных тектонических взрывов.

Отметив *инфляцию ценностей* (повсеместно, начиная где-то с 1988 г.), архитекторы новой действительности стали как бы соревнуясь, искать адекватные определения происходящему в образующемся необычном нравственном пространстве.

Надо сказать, что здесь первооткрывателем стал М. Горбачев, который где-то с 1987 года стал употреблять публично номинацию *общечеловеческие ценности*. Далее мы наблюдаем образование нестандартного синонимического ряда, составные которого определяют семантику этой „общечеловечности”. Имеются в виду *духовные ценности* (с 1988 г.), но и *демократические*, а также *цивилизационные ценности*, причем эта последняя номинация есть также результат моды на интерпретацию перестроечных процессов в цивилизационной парадигме³. Значимость и характер ценностей определяется еще таким образом: *истинные, базисные, абсолютные*. Вербально акцентируется их „нерушимость”, они: *незыблевые, непреходящие, вечные, нетленные и абсолютные*. Их „белая магическая мощь” должна, якобы, противодействовать укоренившемуся *советскому моральному релятивизму*. Необосаблены попытки называть их эталонную суть в, казалось бы, более конкретных регистрах; это *гуманитарные, западные, но и христианские ценности*, причем последняя номинация, так же как и в польском публицистическом дискурсе, стала вскоре, от частотности употребления, стертым, пустой фразой, существенным элементом демократического новояза, орудием политических конъюнктурщиков, проповедующих идеологическую конквисту.

Со временем, изобилующим судьбоносными событиями, наблюдается образование замкнутого круга: от ценностной неопределенности, обнаруженной в первые перестроечные годы, через гущу хаотических аксиологических поисков, до „новой неопределенности”, которая выражается, между прочим, таким образом: *особая ценостная система* – в 1996 г., о господствующем релятивизме; *конфликт ценностей* – (в то же время,

³ Подробно, см.: J. Korzeniewska-Berczyńska, *Новации в языковой картине мира российского человека. На основе современных публицистических текстов*, Olsztyn 1996, passim.

неопределенность шатких ценностных координат), шкала ценностей – (о ее отсутствии в обществе конца 90-х). Кстати, образующуюся нишу заполняют в т.н. постперестроечное время, ценности денежного мешка как незыблемый элемент рыночного мира.

В перестроечные годы повсеместно говорится о *перевоплощении сознания, о повороте сознания к общечеловеческим ценностям, к духовному и личностному началам*⁴.

Полифоничность этических суждений, в том числе, – тотальное оплывание прошлого, ассоциируется с рефлексией Лихачева: „Каждый человек обязан знать, среди [...] каких нравственных ценностей он живет. Он не должен быть самоуверен и нагл в отвержении культуры прошлого без разбора и «суда». Каждый обязан принимать посильное участие в сохранении культуры”⁵.

Не менее продуктивна парадигма духовности, причем и здесь, и по отношению к ценностям, не определяется семантическая суть представляемых концептов. Тем не менее уже предварительный анализ говорит о наблюдаемой жажде духовности, по крайней мере, – о потребности говорить о ней, самостоятельно искать новые ориентиры. Чрезмерно эмоциональная оценка моральной кондиции советского человека в преддверии перестройки и где-то до 1993 г., пожалуй, наиболее ярко выражена метафорически как *монстр бездуховности*.

Эпиграфом к рассуждениям о духовности я использую слова молодой интеллигентки с 1988 г.: „Дожили! С политических трибун зазвучали долгожданные слова: духовный мир, духовная культура, духовность”⁶. С этим взрывом оптимистического энтузиазма сочетается выражаемая повсеместно уверенность, что господствующей стала, наконец, *атмосфера духовного распрямления*.

Какой оказалась судьба оптимистических ожиданий в конфронтации с действительностью? Итак, начиная с 1988 г. и где-то по 1995 г., наблюдается не только лихорадочная поспешность, но и высокая частотность „духовного словоупотребления”. В этой словесной гуще можно выделить несколько оценочных направлений.

⁴ См. также: И. Коженевска-Берчинская, *Грехопадение советского человека и беспомощные аксиологические поиски „человека российского”*. На основе современной публицистики, [в:] *Slavica Quintaecclesiensa III. Материалы III Международной Конференции „Теория и практика преподавания славянских языков”*. Печ, 26–27 апреля 1996, с. 95–102.

⁵ Д. С. Лихачев, *Письма о добром и прекрасном*, Москва 1989, с. 210.

⁶ Н. Шантырь, *Оттого, что в кузнице не было гвоздя. Размышления 35-летней „Юности”* 1988, № 9, с. 19.

Согласно веянию времени обособляется проблематика **пагубного влияния неизжитой советской** на духовное состояние общества, а кроме того, – определяются ее метаастазы, которыми изобилует перестроенное время. В первую очередь, это, например: *духовное разрушение личности* (1988); *духовный инфантилизм* (1989); *бездна бездуховности* (которая открылась в наше время), и еще иначе: *болезнь бездуховности, водопад бездуховности, духовное убожество, поколение духовных рабов* (1996), а в ретроспективе, уже в 1999 г.: *духовная пустыня*. Значительное количество такого типа языковых единиц характеризуется семантической размытостью, а также высокой модальностью. Дискомфортное внутреннее состояние подчеркивается также посредством эпитета *духовная деградация*, а это психическое состояние есть, как можно предполагать, эффект *духовной опустошенности, духовного беспредела, духовной однобокости*, ощущаемого *духовного пепелища* (в себе), а также *духовного вакуума* (после падения коммунистических идеалов).

Пространство экспрессивности подобных новооткрытый обогащается за счет оригинальных наименований: *духовная энтропия*, которая обозначает неспособность различать добро и зло, а также *советские духовные трафареты*, (которые глубоко вошли в наше сознание). Потерянность же, ощущаемая особенно в 80-е и 90-е г. XX века, отображает очередная свежая метафора, *джунгли духа* (в которых советский человек заблудился).

Можно предполагать, что обилие сложных выражений со словом „духовность” и производными есть, в основном, с одной стороны, свидетельство моды, а с другой, – беспомощных аксиологических поисков, а затем желаемого, которое воспринимается как действительное.

В более поздние годы (1998–2000) в публицистическом дискурсе можно найти такие, например, контексты: *уходящая, якобы, агрессивность бездуховности; духовные расхождения* (как повод для ненависти, как знак отсутствия толерантности); *катастрофическое падение духовности* (которая, кстати, не успела прижиться) или еще *духовное растление*.

Таким образом, предполагается, что лишь в первые перестроенные годы жива вера в восстановление сакрум, которое, якобы, проявляется в *атмосфере духовного распрямления* (1991), а также *духовного возрождения*.

Животрепещущим оказывается вопрос **о необходимости в духовных исследованиях**, в результате которых провозглашаются некоторые „новооткрытия”, понимаемые как насущная необходимость. Это, например: *автономность духовной жизни* (1988) *духовные потребности как имманентное свойство человека* (1989); *духовное самоопределение* (1991); *духовная пища*

(необходимость в ней 1992); так же: *духовное потрясение* (1992) и *возвращение ампутированной христианской духовности* (1991).

Отобранный фактический материал подтверждает, с одной стороны, хаотичность поисков смысла жизни, своего места под солнцем, а с другой, – неизмеримую сложность нового социополитического пространства, которое далеко не всегда поддается возможности упорядочнения, категоризации. Такими обстоятельствами объясняется отмеченная публицистами в 1994 г. *духовная капитуляция перед хаосом*. В этом месте целесообразно сослаться на мнение Ю. Левады: „Пережить и превозмочь в границах одного и того же времени агонию самоуничижительной однозначности и конвульсии не сводимой в единое разнонаправленности – неизмеримо трудно” (Ex, 22.09.1993).

Стихийность динамически развертывающихся, судьбоносных процессов приводит к господству *рынка*, а вместе с тем к провозглашению новой *единственно правильной ценности*, т.е. денег.

Итак, с 1992 г. начинается *рыночная стихия*, еще до того торжественно объявлена реформаторами панацеем от всех невзгод, выражаемого в словесной апологии этого явления. Почву для неумеренного восхваления *рынка* готовят также известные публицисты. Л. Пляшева призывает: „Не завидуйте богатым! Порочно не богатство, а лень, немощь и неграмотность. Порочны условия, которые плодят и размножают бедность, Порочная идеология, которая возводит Бедность в добродетель” („Московские новости” 1990, № 44).

Вместе с тем, человек по воле рока становится объектом очередного эксперимента. Изучая общественное восприятие этого экономического урагана, нетрудно констатировать наличие крайностей в социальных оценках – результат мечтательности и еще Бердяевым отмеченного *шараханья*,нского национальному менталитету: от оценок исполненных стихийной веры и надежды по абсолютное отрицание т. н. *рыночных ценностей* (разумеется, в массовом, а не в новорусском восприятии). Переходим к краткому анализу фактического материала.

Итак, перестройка – ускорение – демократизация, естественно, не стали панацеей от хронического дефицита, особенно продуктов питания. Начиная с 1989 г. все чаще внушается россиянам вера в необходимость *перейти к нормальному рынку*, ибо *рыночная модель хозяйства – естественная опора политической демократии*. Общеизвестно, что идеалы чаще всего проигрывают с реальностью, с действительностью. Само начало рынка связано с тотальным государственным грабежом, который стал

„подарком для народа” в Новогоднюю ночь 1991/1992. Такой исходный пункт можно считать предсказанием позднейших бедствий.

Россияне еще не успели понять, что такое рынок, когда оказалось, что в новой действительности он не излечивает поголовную бедность. Неудивительно, что уже в 1993 г. появляются словосочетания, выражающие синдром болезни от рыночных экспериментов типа: *золотушный рынок, мутные воды рынка, доморощенный рынок (преступная возня на нем), дикий, хищнический, безжалостный рынок (нужно готовиться к хирургической операции)*. К концу 1993 г. говорится о том, что реформаторы *подтачили страну к рыночной пропасти*.

Однако общеизвестно, что надежда умирает последней, поэтому призываются, например, к человеческому способу перехода к рынку. Необоснованы перифрастические образования типа: *двигать общество к светлому рыночному будущему; надеяться на рыночное благоустройство*. В этом аспекте характерно высказывание конца 1993 г.: „Рынок рынку рознь. Тот рыночный путь, который предлагают ельцинисты-демократы, предполагает агрессивный рынок, мы же стоим за [...] рынок доброжелательных отношений”.

Целесообразно отметить, что болезни не покидают новый экономический организм. Они в 1994 г. определяются как *детская болезнь увлечения рыночной свободой*. Увлечение, тем более в экономике, всегда противоположность рационального поведения. И действительно, крах 1998 г. приводит к обнаружению *новых, рыночных мифов* и к сплошному безверию населения. Сказанное запечатлено хотя бы в призывах и констатациях-перифразах типа: *к светлому рыночному будущему!, наш отдельно взятый дикий рынок, свирепо-безответственный рынок, решение ввергнуть в рыночный рай насильственным путем*. Развенчание мифологической веры выражено языковыми средствами, которые указывают на несбыываемость иллюзий, например: *социально ориентированный рынок, строить рынок с человеческим лицом*.

Сопоставив публицистические отзывы с собственными наблюдениями, можно судить, что рядовой русский человек мечется в те годы между Сциллой духовности и Харибдой „рыночности”, между сакрум и профанум.

Анализ многоликисти синтаксических конструкций позволяет выявить их когнитивную значимость, которая, однако, имеет, тем более, для инокультурного исследователя, имплицитный характер, раскрываемый в процессе кропотливых поисков скрытых за словом или между слов, значений. Они, в основном, документируют беспомощность аксиологии-

ческих (и не только!) поисков, связанных с разрушением привычного, освоенного, хотя и порочного мира. Результаты анализа отобранного лексико-семантического материала из перспективы начала XXI века, вызывают ассоциации с рефлексией А. Ками (цитирую по памяти): „Можно себе представить счастливого Сизифа. Он борется с судьбой, он вполне понимает бесполезность своих действий, но одновременно он осознает, что без этого человек не может стать человеком”⁷.

Streszczenie

Potencjał kognitywny nowych związków wyrazowych i frazeologizmów

Zasygnalizowana problematyka jest rozpatrywana na podstawie rosyjskiego dyskursu publicystycznego z lat 1988–2000. Autorka wyodrębnia ponad 20 słów kluczowych, wokół których tworzą się nowe grupy wyrazowe (także frazeologizmy).

Przedmiotem analizy są w tekście tylko trzy grupy związków wyrazowych, które powstają wokół wyrazów *duchovnost*, *cennosti* (i pochodnych) oraz *rynok* (i pochodnych). Artykuł dotyczy oceny rozpaczliwych poszukiwań istoty duchowości oraz istoty nowych wartości. Chronologicznie późniejsza produktywność słowa-klucza *rynok* poświadczają niezmiernie trudny problem wyboru, który okazałby się dla człowieka najbardziej właściwy w całkowicie nowej sytuacji (także ekonomicznej).

Poddany analizie semantycznej materiał źródłowy zawiera wiele cennych, acz implicitywnych, komunikatów dotyczących nie tylko socjalnego odbioru burzliwych przemian społeczno-politycznych, ale i wpływu owych innowacji na sposób widzenia oraz interpretacji rzeczywistości.

Summary

The cognitive potential of new collocations and idiomatic expressions

The issues mentioned above are examined on the basis of the content of the Russian journalistic discourse from the years 1988–2000. The authoress has singled out more than 20 key words around which new word groups (also idioms) are formed.

The analysis contained in the text covers only three groups of collocations which are being formed around the words: *dukhovnost*, *tsennosti* (and its derivatives) and *rynok* (and its derivatives). The article deals with the assessment of a desperate search for the essence of spirituality and the essence of new values. Chronologically, the subsequent productivity of the key word *rynok* confirms the extremely difficult problem of making a choice which would be best for man.

The source material subjected to semantic analysis contains a great deal of valuable information concerning not only the social reception of turbulent socio-political transformations but also the impact of those innovations on the way in which reality is perceived and interpreted.

⁷ Перевод из польского языка сделан автором данной статьи.